

Сергей Завьялов

Бог молчит. Помолчим и мы

Когда мы познакомились в 1983 году, Борису Останину было 35, а мне — на десять лет меньше. Мы были друзьями сорок лет, то есть большую часть наших жизней. Сейчас, когда его не стало, задаюсь вопросом: что я в нем понял? В разное время вдруг казалось, что я начинаю что-то понимать. Но что?

Вряд ли пониманию поспособствовала совместная «общественная деятельность» в эпоху самиздата и «Клуба-81», хотя именно она поначалу и вызвала мое восхищение Борисом. Вряд ли — совместная работа (в 1998—2000 и 2018—2019 годах) в жюри Премии Андрея Белого, пусть я до конца не сомневался в огромной ценности этой институции (несмотря на все большую зависимость и даже незащищенность ее от московских литературных интриг).

Не были пропуском в его мир и многочисленные книги Бориса (может быть, как раз в силу их многочисленности?), хотя многие идеи и фразы в них казались гениальными. Вряд ли помогали и долгие беседы (последние двадцать лет в лжересторанах «Мама Рома», которые Останин почему-то любил) в каждый мой приезд на родину, а появившийся в последние годы WhatsApp только лишь все усложнил. Но случалось, что я вдруг наткнулся на *нечто*, о чем Борис отказывался говорить и что придавало его личности новую степень глубины и загадывало новые загадки.

Едва ли не первый такой случай произошел у него в гостях, когда это *нечто* бросилось мне в глаза. Это был маленький полувековой давности пластмассовый самолетик, стоявший на полке секретера хрущевских времен. Как-либо показать замеченное было нельзя: любой намек не то что на трагические, а просто на неприятные обстоятельства Боря отметал фразой «С тебя штраф сто рублей».

И я стал представлять себе, что может ощутить десятилетний мальчик, которому сообщили о гибели отца-летчика и которому теперь предстоит взростать рядом с навсегда убитой горем вдовой.

Из воспоминаний о молодости больше всего меня тронул рассказ о переживании симфонии Малера (жаль, что не переспросил какой). Дело было на рубеже 1960—1970-х, когда Малера в СССР только-только начали исполнять. Скорее всего, дирижировал Кирилл Кондрашин — добавлю я (Боря над этим уточнением, уверен, посмеялся бы).

Рассказ был о промерзшем троллейбусе, на котором Останин возвращался домой с концерта в большом зале филармонии (для него это был явно не светский выход и не ухаживание за дамой — сразу подумал я). Не могу дословно повторить его фразы (возможно, я вообще не в состоянии передать его прямую речь в силу невладения особой риторикой), но смысл был в том, что Малер поставил его перед выбором: или уйти в классическую музыку, или остаться самим собой. Просто же изредка *слушать* ее для Бориса сделалось невозможно: она требовала изменить *все*. В результате сложившаяся уже небольшая фонотека была роздана друзьям.

Интересно, каким? — пытаюсь реконструировать я сейчас. А реконструировать есть что: музыка в Ленинграде 1970-х имела совсем иную аудиторию,

нежели поэзия. В поколении Останина классическая музыка (впрочем, кажется, и сейчас) была доступна единицам. Ни один из поэтов «Клуба-81» границу прогрессивного рока не переступал. Позднее (и опять-таки у единиц) проявился интерес к радикальному музыкальному авангарду, но как-то случайный разговор с Виктором Лапицким о Кейдже показал мне, что это был интерес с акцентом на эпитете «радикальный», а не на «музыкальный». Уже годы спустя я был на юбилейном концерте в честь 100-летия Кейджа в Цюрихе и убедился, насколько творчество этого композитора отличается от тогдашнего мнения о нем Лапицкого. Потом в «Пунктирах»¹ я наткнулся на пассаж (с. 100):

В музыке я открыл образ своего несчастья.
И поняв это, перестал слушать музыку.

*

Вспоминая Бориса, все время поражаюсь его умению дружить с людьми, казалось бы, несовместимыми. Достаточно открыть его книгу «На бреющем полете». В ней мы находим совместные работы с Аркадием Драгомощенко и... Виктором Васильевичем Антоновым. Как можно находить общий язык с ультралевыми и ультраправыми? И не на политическом поле (где это при каких-то обстоятельствах такое представимо: совместная борьба с капитализмом, например), а в философствовании? Когда для одного «патриотизм — последнее убежище негодяя», а для другого даже русская религиозная философия — и недостаточно русская, и недостаточно религиозная?

И это никак не связано с бесхребетностью: вот уж характеристика, которую немисливо приложить к Останину. В привлечен в 1986 году всеобщее внимание участников *Культурного движения* (как он его любил называть) совместном с Александром Кобаком эссе «Молния и радуга» *радуга* начала 1980-х (вторая их половина оказалось радикально иной), символизирующая антитезу эгоистичной и агрессивной *молнии* 1960-х, как раз и виделась Борису надеждой (может быть, последней иллюзией в его жизни?): «Радуга — дружеская беседа умиротворенных сердец, радостное соучастие в устройении надежного миропорядка, <...> Ноев ковчег в небе, залог любви и бессмертия, символ примирения с Богом» («На бреющем полете». С. 142).

Казалось бы: сплошное мечтательство? Уверен, что это не так: во-первых, соавтором Останина был «идеальный центрист», многолетний глава Петербургского фонда культуры, всей своей деятельностью доказавший жизнелюбие и продуктивность сконструированного образа; во-вторых, более точная хронология, опирающаяся не на холодные цифры дат, а на теплые, «потные» человеческие судьбы, сдвинув предложенную схему примерно на семь-пять лет назад, совместит описанную ситуацию с исторической реальностью: *молния* сверкала примерно с 1953-го по 1968-й, *радуга* стояла над головами с 1969-го по 1985-й, после чего история снова легла на противоположный галс. И произошло это буквально в год публикации эссе.

1 Здесь и далее книги Б. Останина цитируются по следующим изданиям: *Останин Б. Пунктиры* / Предисл. А. Драгомощенко. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2000; *Он же. На бреющем полете* / Предисл. Л. Зубовой и А. Скидана. СПб.: Амфора, 2009; *Он же. Дребезги*. СПб.: Юолукка, 2018.

Впрочем, за позицией Бориса всегда стояла собственная философская (и, непременно следует добавить, религиозная) картина мира, чрезвычайно рано вырисовывавшаяся («Пунктиры», где он еще не уклонялся от ее манифестирования, были написаны в 1972—1974 годах) и далее по своей сути не менявшаяся, хотя и становившаяся все менее декларативной и более усложненной, как бы углубленной в себя. Вот, может быть, один из первых манифестов — позднее манифесты исчезнут («Пунктиры». С. 160):

Много уже лет не имею ни малейшего желания спорить.
Ни с кем. Ни о чём.

*

Само знакомство с Борисом было парадоксальным: мой коллега по занятиям Древней Грецией и Римом Дмитрий Панченко (между прочим, один из издателей самиздатовского журнала «Метродор», в котором я уже успел напечататься) с женой Еленой стали устраивать в своей квартире на улице Марата журфиксы. Собственно, «Метродор» с позиции ультрапозитивизма объявил войну не историкам-марксистам, а «хозяевам интеллигентского дискурса» тех лет: Ю.М. Лотману, С.С. Аверинцеву, только что возвращенной из забвения О.М. Фрейденберг. Останину, при всем его недоверии к позитивизму, такая атака на то, что не критически вошло в моду, была симпатична.

Впрочем, в журфиксах не участвовали другие «метродоровцы»: Леонид Жмудь (классический «человек молнии») и Сурен Тахтаджян, зато приходили деятели *Культурного движения*, «мандельштамофилы» Григорий Беневиц и Аркадий Шуфрин, как раз писавшие свой труд, в котором доказывалось, что Мандельштам был чуть ли не единственным истинно христианским поэтом. Любопытно, что нечто схожее сочинял тогда же, только по ту сторону границы, не автодидакт-котельщик, а заведующий кафедрой славистики Университета Париж X Никита Струве.

В конце концов Беневиц и Шуфрин, уже не на почве юношеской мандельштамофилии, а зрелого богословия, получили образование в Оксфордском и Принстонском университетах, а Беневиц стал крупным патрологом, но тогда это были восторженные и дружелюбные юноши — идеальные собеседники для Останина, само появление которого в доме я бы сравнил с залпом праздничного салюта.

Никогда не забуду, как однажды ворвавшийся Борис выгащил (не помню откуда) ардисовское издание романа Саши Соколова «Между собакой и волком» (комментарий Бориса к роману был опубликован 37 лет спустя — в 2020 году) и стал вдохновенно декламировать:

У Сороки — боли, у Вороны — боли,
У Собаки — быстрее заживи.
Шел по синему свету Человек-инвалид,
Костыли его были в крови.

Шли по синему снегу его костыли,
И мерещился Бог в облаках,
И в то время, как Ливия гибла в пыли
Нидерланды неслись на коньках.

<...>

Восторг у собравшихся был таков, что, мне кажется, все к концу исполнения замыгали и завыли. Сейчас, перечитывая это стихотворение, уверен: мы восторгались не вполне себе эпигонской поэзией, а тем духовным взлетом, который испытывал читавший, превративший своим голосом мастеровитое стихоплетство в шедевр.

Уже упомянутая недавняя публикация комментария Останина к Соколову вскрыла еще одну деталь той давнишней истории: одновременно писавшиеся книги о Мандельштаме и Соколове показались мне *невероятно близки*, чего было не заподозрить, прочтя в 1986 году совместно сочиненное Останиным и Кобаком эссе «Бумажный сатана» — рецензию на Беневиича и Шуфрина. Впрочем, для кого *невероятно близки*? Для позитивиста, эволюционировавшего в марксисты? Может быть, как раз неразличение противоположного в различных непозитивистских концепциях и есть главное мое препятствие к пониманию Бориса? Но каково эллинисту сталкиваться с утверждением: «Греция — бельмо на глазу человечества» («Пунктиры». С. 42)?

*

В последние годы Борис оставался самим собой, таким же, каким я знал его на протяжении четырех десятилетий, однако его восприятие *культурным сообществом* (то есть фейсбуком*) на фоне меняющихся обстоятельств начинало скандализоваться. Как Останин когда-то не имел ничего общего с советским доктринерством или с пропагандистскими манипуляциями перестройки, так же (без ярости и злобы, но как бы *не принимая к сведению*) он относился к пропаганде глобалистской. Поразительно, как рано он ее разглядел и ироничноотреагировал (кажется, так же рано, но по другим причинам это сделал и Аркадий Драгомощенко, сравнивавший «Клуб-81» с западными писателями-диссидентами вроде Джеймса Олдриджа). Еще в «Пунктирах» есть реплика: «В Америке меня интересует только *антиамериканское*» (с. 50).

А пропаганда нового типа оказывалась все более и более эффективной. Собственно говоря, в Европе ее первые шаги стали различать и осмыслять еще полвека назад, но сила этой новой тоталитарности заключалась как раз в том, что она маскировалась под протест, канализируя последний в безопасных для капитализма направлениях. В России 1990-х ситуация достигла еще большего накала: участники залоговых аукционов (олигархи) через СМИ наводили на интеллигенцию страх перед возвратом к власти коммунистов, заставляя выступать не только против демократических процедур, но и против собственных интересов. Слишком немногие сразу же определили происходившее как манипуляцию. К непониманию случившегося прибавлялся страх быть обвиненным в поддержке реваншистов, изоляционистов, антисемитов и оказаться отвергнутым своей средой, лишившимся дружеского окружения.

Нужно было обладать непрекаемым авторитетом, чтобы позволить себе двинуться против течения. Впрочем, у Останина был «задел» такого движения

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации Тверским районным судом 22.03.2022 г. по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

еще в «Пунктирах»: «Как раньше романтики писали про кладбища, так теперь в самиздате пишут про лагерь. “Застолбили тему”» (с. 168).

Постепенно раздражение *замполиткорректностью* («Дребезги». С. 10) у Бориса становилось сильнее и сильнее. Его не оставляли безучастным (или, как он любил говорить, *флегматичным*) ни мнимая борьба за расовое равноправие в форме запрета на традиционные термины — отсюда его шутка о *юдо-американцах* («Дребезги». С. 9), ни *гейфория* («На бреющем полете». С. 313): акцентирование одних проблем в ущерб другим, вырывание их из контекста. И друзья молодости, и литературная (и не только) молодежь, вступившая в нешуточное противостояние с совсем иными врагами, вряд ли даже понимали, о чем идет речь. А речь шла о том, что могучие новые враги, используя глобалистскую пропаганду, мобилизуют культурное и протестное сообщества на войну с потерявшими всякую силу и опасность врагами вчерашними.

*

Борис умирал героически: после паллиативной операции он снова стал писать письма (за десять дней до смерти описывал мне крестный ход на Невском проспекте в память о перенесении мощей благоверного великого князя Александра Невского). В телефонных разговорах стал строить планы (однажды даже перезвонил, чтобы добавить еще одну забытую деталь). В самом последнем разговоре — с радостью рассказывал, что появились силы доходить до церкви (в двух кварталах от дома) и ставить свечи.

Мир действительно *не поймал* его, но по своему дьявольскому свойству не мог не осквернить тишины в день его смерти: первое же новостное агентство сообщило: «Умер Борис Останин, переводчик Кастанеды...» Затем эту заслугу подхватили другие. Единственное, что этот *мир* счел пригодным для продажи. Пятьдесят лет назад Боря записал («Пунктиры». С. 34):

Единственное, на что я *абсолютно* способен, — это смерть.
Всё остальное — «дело случая».

Михаил Куртов

О значении числа 37 (73) в житнетворчестве Бориса Останина

В эссе «Ономатург из кочегарки»¹ мы установили три концептуальных столпа исследовательского метода Бориса Останина: кратилизм, герметизм и пифаго-

1 *Куртов М.* Ономатург из кочегарки. Памяти Бориса Останина, мастера петербургского свободомыслия // Нож. 2023. 1 октября (<https://knife.media/ostanin/> (дата обращения: 21.01.2024)).